

ССЫЛЬНЫЕ 1812 г. В ОРЕНБУРГСКОМ КРАЕ.

К ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ[1]

П. Л. Юдин

I.

Тяжелую годину переживала Россия, когда «Великая армия» Наполеона вступила в ее пределы и начала опустошать села и нивы незащитных поселенцев наших. Все задрожало от варварских приемов воинственных сынов просвещенной Европы, кичившихся своей цивилизацией и гуманностью. Первопрестольная столица и Северная Пальмира трепетно ждали роковой развязки. Народ с ненавистью смотрел на комфортабельно-приютившихся у нас иностранцев, видя в каждом из них врага России, врага заклятого, басурманского. Само правительство подозрительно следило за этими людьми, т. к. многие из них промышляли шпионством и передавали неприятелю необходимые сведения, продолжая в то же время состоять на Российской коронной службе и получать Российское жалованье. Оказалось необходимым удалять их из столиц и разсылать по окраинам Империи.

Особенно много этих изгнанников пришлось на долю Оренбургского края. Сюда были сосланы преступники из всех слоев общества, люди разных наций и всевозможных профессий, начиная с простых рабочих (коверный мастер Герен) и кончая офицерами Российской армии. Из числа последних были отправлены в Оренбург прапорщики Селезнев и барон Селли (Грек). Последний, служа у нас знаменосцем в отряде легких стрелков, был замечен в тайных сношениях с неприятелем. Потом, 12.08.1812, без обозначения причин, были присланы из Петербурга парикмахер Бушене, иностранный Еврей Вальдгейм, «живший без всякого дела», и «бывший ресторатор на Исакиевской площади» Велькер, затем «учинивший присягу на подданство России и потом взявший новый паспорт от посла «Француз Биньон, бывший переводчик Губернского Правления Грек [Grec], какой-то служивший у знаменитого Тардифа», коллежский ассесор Чериотти [Ceriotti], Французский купец Туссен [Toussaint] и мастер Герен [Guerin]. Главкомандующим в Петербурге, генералом-от-инфантерии С. К. Вязмитиновым предписано было учредить за ними строгий надзор, разослав по крепостям, «чтобы они жили тихо и скромно, никаких к нарушению спокойствия предприятий, вредных разговоров и политических рассуждений не делали и переписки ни с кем не имели».

Немного позднее, 17-го Сентября, были высланы еще из Казани иностранец Эдуард и Поляк Козловский, также замешанные в сношениях с неприятелем. Некоторые, как, например, иностранец Бетихер с семейством, ссылались только по подозрениям в политических намерениях, другие же сосланы за беспокойный характер.

К числу последних принадлежал поручик Кандогурий (Грек), присланный в Оренбург за «дерзкия выражения в просьбе своей

противу барона Кампенгаузена», за что он сначала был выдержан две недели на хлебе и воде и потом, без права въезда в столицу, перевезен в свой родной город Таганрог. Но и это строгое наказание не заставило его смириться: в Таганроге он стал сбивать с пути истинного своих единоплеменников «на счет Российских законов». Местный градоначальник донес о нем по начальству, и безпокойного отставного поручика перевели на житье в Оренбургский край, где ему уже не кого было возмущать.

Перечислить всех иностранцев и других поднадзорных, присланных в это время в эту отдаленную окраину, не представляется возможности, тем более, что о большинстве из них нет положительно никаких сведений, за исключением одних фамилий. Замечательны судьба и данные только о двух ссыльных, неизвестно чем навлекших на себя гнев Московского генерал-губернатора, графа Ф. В. Ростопчина. Первый был преподавателем Московского Университета Годфруа, присланный в Оренбург 2.08.1812, а второй Витебский помещик Реут, высланный из Москвы 26-го Июля. Какие они совершили преступления, о том в официальных сведениях ничего не значится. Только в письме графа Ростопчина (от 21.07.1812) на имя Оренбургского военного губернатора князя С. К. Волконского говорилось, что Годфруа ссылается в Оренбург по высочайшему повелению и за ним должно «иметь надлежащий надзор». Более же подробные сведения о себе дает сам профессор этот в письме своем на Французском языке на имя государя. 12.08.1812 из Оренбурга Годфруа написал еще письмо к министру народного просвещения графу А. К. Разумовскому в пылких и картинных выражениях и приложил список с своего письма к Государю. Он ссылается на доброе о нем мнение директора Тульской гимназии Гурьева, Московской – Дружинина, и ректора Московского университета А. А. Прокоповича-Антонского, которому позднее, 28.05.1813, он писал из Верхнеуральска.

Оба письма эти, чрез Оренбургского коменданта, г.-м. Гертценберга, были представлены князю Волконскому. Но князь Волконский не послал их по назначению, а для чего-то, 14-го Августа, официальным письмом (за № 1579) адресовался к графу Ростопчину, переслав ему первое письмо Годфруа, в коем выражаются «дерзкия мысли сего Француза на щет» Ростопчина «и на щет вообще Российскаго правительства», и по этой причине, «предавая суждению графа оправдания его», покорнейше просил его сиятельство «почтить уведомлением о его на сие заключении». Однако, не дождавшись «уведомления» этого, как поступить с «дерзким» Французом, князь Волконский распорядился отправить его на жительство в Верхнеуральск, под надзор тамошнего коменданта полковника Суховицкого.

С 5.09.1812 по 25.04.1813 Годфруа «находился в Верхнеуральске на обывательской квартире под смотрением двух рядовых местнаго батальона и «ни в каких противных поступках замечен не был». Но в ночь на 26-е Апреля он расположился ночевать не «в горнице», как обыкновенно делал, а в небольшом, прилегающем к дому, чуланчике. Приставленные к нему часовые оставались в сенях, и когда в доме все успокоилось, а солдатики заснули, профессор на разсвете дня тихонько отпер окно, выходящее из чулана на двор, и незаметно вышел на улицу. Проснувшись в три часа пополуночи, солдаты заметили растворенное окно, заглянули в него, но

арестованного уже след простыл. Сначала они подумали, что Годфруа по обыкновению пошел гулять так рано или зашел к кому-нибудь из знакомых, дабы развеять свою грусть-тоску, «поелику он часто бывал примеченным при надзирании гг. плац-майорами и дежурными по караулам офицерами в глубокой меланхолии». Поэтому часовые бросились искать беглеца в городе, но, не найдя его нигде, потом уже донесли о случившемся дежурному по караулам подпоручику Казанцеву, который, в свою очередь, не замедлил довести до сведения коменданта. Полковник Суховицкий приказал «выбрать из казаков и гарнизонных чинов самых расторопных и исправных людей» и по частям разослал их во все стороны «для поиску» Годфруа.

После тщательных розысков, одной из партий под командой рядового Богданова удалось найти пленного верстах в 6 от Верхнеуральска, по направлению к Киргизской степи, на самой границе, «лежащим от усталости в гористом месте, между камнями». Беглец того же 26 Апреля в 4 часа пополудни был представлен в комендантское управление вместе с имевшимся при нем дорожным мешком, где, по осмотре, оказалось: белье, денег 90 рубл. ассигнациями и 1 р. 25 к. серебром, писчая белая бумага «с прибором», несколько печатных книг на Немецком и Французском языках и 10 штук крута[2]. На спрос коменданта, зачем он покусился на бегство, Годфруа отвечал, что даст по этому поводу письменное объяснение, которое и представил 28-го Апреля на Русском языке. Вот оправдательная записка ученого Француза.

«Желание оправдать себя пред вашим высокоблагородием, в разсуждении покушения моего в бегстве из вашего города и из России, побуждает меня у вас попросить дозволения вам отдать отчет в причинах, которыя меня довели до этого предприятия, и в средствах мною для того употребленных.

По неслыханной несправедливости, сделанной мне Московским военным губернатором, графом Ростопчиным, я давно решился оставить навсегда Россию, как скоро я свободен буду, и возвратиться во Францию; но зная, как щедро Французское правительство награждает тех, которые учены в восточных языках, и особливо в Арабском, мое намерение было сперва путешествовать несколько лет в Турции, в Арабии, в Персии и даже в Бухарии, чтоб учиться языкам этих стран, которые имеют между собою самую тесную связь. Между тем, наметив в Оренбургском народном училище учебныя книги для Татарского языка, я их купил и начинал учиться этому языку, сперва в Оренбурге, и потом в здешнем городе. Но невозможность продолжать это приговорительное учение, молчание правительства о моей просьбе Государю, врученной мною его сиятельству князю Волконскому слишком за восемь месяцев пред сим, совершенный недостаток в средствах снискивать себе пропитание, наконец, опасность терпеть мои мучения до неизвестности конца продолжительной войны, меня довели до такого отчаяния, что (я) решился стараться через самую опасную дорогу пробраться в Бухарию, и оттуда далее для исполнения вышесказанного моего плана; за тем боясь, чтобы скорое возстановление линии маяков[3] мне не препятствовало в моем намерении, тем больше, что я, не имея в нем никакого сообщения, не

мог получить ни от кого малейшей помощи, я решился 26-го числа сего месяца, в 3 часа пополудни, запасшись малым количеством белья, учебных книг и крутов, уйти чрез окошко моей горницы посредством веревочной лестницы, и убежать пешком в Киргизскую степь, в надежде, что какой-нибудь Киргизец утащил бы в Бухарию или согласился бы за несколько денег меня туда увезти; но скоро, выбившись с ног, я был принужден броситься в первое скрытное место, где меня нашли посланные вами казаки.

В эдаком случае, м. г., я знаю ваши обязанности и не буду роптать против ваших распоряжений, только давши заметить вашему высокоблагородию, что я не нарушил никакой обязанности, никакого вам данного слова. Я кончу, попросивши у вас позволения вам предложить один простой вопрос. Положим, м. г., что один из ваших любезнейших ближних, бывши задержанным в чужих краях по самому незаконному приказанию высшего правительства, счел вырваться из рук своих караулов и что к вам теперь приезжая, он бросается в ваши объятия. Неужели вы будете его бранить? Не будете ли вы напротив поздравлять его со счастливым приездом и хвалить ту решимость, ту отважность, с которою он успел освободиться? Таково мое положение, м. г., и поэтому я уверен, что во внутренности сердца своего вы, конечно, не осуждаете моего предприятия. Подробнейшия объяснения я готов подать в в-б-дию, ежели вы их желаете; особенно я вас уверяю, что по мерам, взятым мною, караулы никак не виноваты и даже, что из всех караулов, бывших прежде при мне, никто мне так не досадовал своим строгим надсмотром, как эти, которые были при мне в день моего бегства».

Обо всем случившемся (с представлением копии с оправдания Годфруа) Верхнеуральский комендант донес князю Волконскому, который (1.07.1813) «впред до решения дела» предписал «содержать его под караулом на гауптвахте», в свою очередь донес об этом главнокомандующему в Петербург Вязмитинову. Но т. к. последнему в это время было не до разбора ссыльных Французов, то дело Годфруа окончилось без всяких для него дурных последствий, если не считать содержание его под стражей (на гауптвахте) со времени бегства по 25.10.1814, где ему не позволялось ни читать, ни писать что-либо: все книги и бумаги были отобраны, и бедняга без дела еще больше изнывал в тоске и горе. Суховицкий сжалился над ним и в начале Октября 1814 г. просил князя Волконского выдать ему хоть те книги (букварь, грамматику и словарь Российский с переводом на Татарский язык), по коим начал он обучаться разговорам. Но Оренбургский военный губернатор почему-то разрешил выдать ему книги только на Татарском языке и предложил Верхнеуральскому коменданту: «если поведение Годфруа не подвержено никакому сомнению, то перевести его на квартиру и иметь на оной под надлежащим надзором».

Годфруа вздохнул свободнее. Руки у него были теперь развязаны. Слабый луч надежды виделся впереди на скорое освобождение, тем более, что 30-го Августа того же 1814 г. вышло высочайшее повеление, по которому некоторые из пленных

могли освободиться из неволи. Это дало ему повод чрез Суховицкого снова (10-го Декабря) обратиться с просительным письмом к князю Волконскому.

«Я имею честь представить вашему сиятельству, что по всемилостивейшему манифесту, изданному 30-го Августа нынешняго года, все те, до коих касается Государева милость, имеют даже получить обратно то имение, которое было бы у них прежде описано, м. г., не может быть намерения вашего сиятельства лишить меня долее тех Татарских книг, которыя были у меня отобраны за два года пред сим, тем больше, что это такая сочинения, которыя публично продаются по приказанию и на счет правительства в Оренбургской гимназии, где я их и купил. Но как последнее повеление вашего сиятельства о том предмете предписывает отдать мне только те из этих книг, которыя на одном татарском языке: выходит, что как оне все на обоих – Татарском и Российским языках, и что даже по той одной причине оне были у меня отобраны, то здешний господин комендант находится обязанным и теперь их всех держать у себя. По эдаким обстоятельствам не позволено ли мне будет, м. г., полагать, «что случилась, может быть, какая-нибудь ошибка в составлении приказа, предложеннаго подписыванию вашего сиятельства?» В таком случае я вас покорнейше прошу, чтобы вы изволили вторично приказать, что бы все мои Татарския книги без исключения были мне возвращены.

Как всемилостивейший манифест возстановляет сосланных в прежнее их состояние, и как, с другой стороны, правительство не кажется намеренным возвратить меня в Москву на казенный счет, я вас также прошу покорнейше, м. г., чтобы вы изволили приказать отдать мне паспорт до Казани, чтобы я мог там сыскать средства пропитания, которых я здесь так долго находил себя лишенным. А ежели, по неизвестным мне причинам, не будет во власти вашего сиятельства сделать мне сию милость, то я вас покорнейше прошу дать мне позволение писать прямо и на Французском языке к Ея Величеству Государыне Императрице Елисавете Алексеевне, у которой с полною доверенностию я буду всепокорнейше просить высочайшаго ходатайства, как скоро я буду извещен о возвращении Ея Величества в столицу.

Позвольте мне теперь, м. г., окончить мое письмо кратким представлением вашему сиятельству ужасных бед, которыя я претерпел в Москве в то время, когда я здесь и без того так чувствительно страдал. Моя жена и мой брат скоро умерли от печали и в отчаянии; все мое имение, моя библиотека, мои важнейшия бумаги, документы, на которых основывалось будущее мое счастье, все разграблено и все пропало; так что из всего прежняго моего состояния мне остается одно страшное предчувствование несчастной старости. Ежели, по непостежимой судьбе, такая была награда непорочнаго поведения, безмернаго усердия и ревностных услуг человека, котораго все существо было предано России, то по крайней мере я ласкаю себя надеждою, м. г., что, двинувшись вместе с чувством правосудия, человеколюбия и сострадательности, вы не замедлите дать мне

наслаждаться благодеяниями всемилостивейшаго манифеста, и что вы удостоите своим уважением двоякий предмет сей моей просьбы к вашему сиятельству».

Видимо, что письмо написано человеком недовольно знакомым с оборотами Русской речи. Тем не менее Годфруа и по-русски умел выражаться колко. Князь Волконский, однако, не понял или старался не понять такую колкость и видимо настолько встревожился угроз ученаго пленника, что тотчас же по получении письма (15-го Декабря) предписал Суховицкому выдать Годфруа все «печатныя книги на Татарском и Российском языках», с требованием лишь донести ему, какия в книгах и письменных тетрадках, отобранных от Годфруа, окажутся недостатки. Относительно же увольнения пленника в Казань приказано было объявить ему, «что ни в Москву, ни в Казань отпустить его не можно, потому что об освобождении его не последовало еще разрешения от высшаго правительства», о чем-де уже сделано представление г. главнокомандующему в С.-Петербурге. Что же касается разрешения Годфруа писать Императрице, то этого ему «отнюдь не позволять прямо от себя», а чтоб он терпеливо ожидал разрешения о возвращении ему прежней свободы. Однако прошло еще около четырех месяцев, а о возвращении этой свободы не было ни слуху, ни духу. Годфруа потерял всякое терпение и, наконец, 8.04.1815 сам написал письмо С. К. Вязмитинову, которое, через Суховицаго, просил князя Волконскаго переслать по назначению. На этот раз Оренбургский военный губернатор исполнил желание Годфруа. Но какой получился из Петербурга от министра полиции ответ, из дела не видно. По всей вероятности, он был освобожден в силу высочайшаго манифеста 14.12.1815, т. к. в последующих годах о нем не было никакой переписки.

II.

Как о Годфруа, так и о Богуславе Матвеевиче Реуте нет точных официальных данных. Только в письме графа Ростопчина к князю Волконскому от 12.07.1812, говорится, что Реут ссылается «за дерзкия слова», но кому, когда и где сказанная, ничего неизвестно. Более же обстоятельныя сведения о себе дает сам ссыльный в написанной по-французски «оправдательной записке», которую приводим здесь в Русском переводе. Это целая, весьма любопытная автобиография.

Оправдательная записка, составленная мною Богуславом Реутом, по поводу моего задержания в Москве 26.06.1812, в том виде, как она должна была быть представлена его сиятельству графу Ростопчину.

Прежде чем начать мое оправдание, изложу вкратце историю моей жизни. Свидетельствуюсь Высшим Существом, что буду говорить одну только правду.

Я родился 8/20.10.1773, в той части Белоруссии, которая, по разделу Польши 1793 г., отошла под скипетр славной памяти Всероссийской Императрицы Екатерины II. Мои родители, благороднаго происхождения, не были богаты, но жили в довольстве, любимые своими соседями и уважаемые в своей губернии. Нас было две сестры и

четыре брата, из которых я старший. Отца моего я лишился в том возрасте, когда не понимал значения этой утраты. Десяти лет от роду я начал учиться в Полацкой коллегии отцов-Иезуитов. В 1791 г. мать моя послала меня в Варшаву к своему родственнику графу Дзеконскому, который был казначеем Литвы [tresorier de Lithuanie]. Там же находился и другой родственник мой по матери моей граф Гутаковский, и благодаря им я определился в коронную канцелярию. В 1793 г. произошли Тарповицкая конфедерация, последний сейм в Гродне и раздел Польши. Я поспешил тогда возвратиться в нашу губернию, которая принадлежала уже России и, будучи старшим в семействе, принес присягу в верности Ея Величеству Императрице, в Минске у тамошняго губернатора Неплюева. Через несколько месяцев вспыхнула несчастная революция Костюшки. Его приверженцы звали меня назад в Варшаву, маня меня блестящими обещаниями и предлагая должность; но, при всей своей молодости, я разсудил здраво, что все эти волканические вспышки были лишь химерами, без всякой основы. К тому же мне хорошо жилось в новом моем отечестве. Я не захотел изменять присяге и остался дома при моей матери, ведя тихую жизнь, как подобало верному подданному Ея Величества. Чтобы не навлечь на себя подозрений, я нарочно ездил часто, в это смутное время, в Полоцк к нашему тогдашнему губернатору Неклюдову, который меня в особенности удостоивал своей дружбы и уважения. В Москве я навестил их. Неклюдов был очень болен; а супруга его приняла меня с тою же любезностью и добротой, как бывало в Полоцке. Неклюдов долгое время был у нас губернатором; он может всего лучше свидетельствовать о моих поступках и образе мыслей. После этого последняго кроваваго Польскаго возстания обнародованы были общее прощение, окончательный раздел и мир.

С ранней моей молодости возымел я сильную страсть к путешествиям по чужим краям и приставал к моей матери, чтоб она дала мне на то позволение и средства; но по нежности ко мне она не соглашалась и чтобы привязать меня к дому уговаривала жениться и жить постоянно в деревне. Я был тогда еще слишком молод для хозяйственных занятий, и мне казалось, что чувствую отвращение к браку. Мать мою я обожал, и положение мое было трудное. Видя мою нерешимость, она не настаивала, но уступила принадлежавшее ей право на все наше поместье мне одному. В виду такой нежности с ея стороны я слепо подчинился ея воле. На ком бы ни жениться, мне было все равно. У меня была двоюродная сестра, племянница моей матери; она часто у нас жила, и мы росли почти вместе. Выбор мой остановился на ней, о чем я сообщил моей матери. Я по истине чувствовал к ней весьма искреннюю дружбу, отнюдь не любовь. Нужно было однако церковное разрешение. Обращались в Рим через посредство митрополита Сестренцевича. Не жалели издержек, через несколько месяцев пришло разрешение, и я женился. Мать моя, предовольная, полагала, что счастье мое обезпечено; но увы... Величайшим неблагоприятием с моей стороны было соединиться браком с особой, к которой я вовсе не имел склонности, и тут корень всех невзгод и несчастий моей жизни. С позволения и с пособием моей матери я купил у втораго

моего младшего брата [4] приходившееся на его долю наследственное владение; а через несколько времени два другие мои брата, поступив в орден отцов-Иезуитов, продали мне также свои доли, так что я сделался единственным владельцем всего нашего поместья, слишком в 300 душ; но т. к. для выдачи сестрам на приданое мне пришлось взять займы до 4000 червонцев, то я должен был перепродать часть земли и, расплатившись с долгами, владею ныне 200 душ крестьян.

Между тем брак мой не приносил мне благополучия, тем более что мы с женою не были счастливы детьми: их родилось шестеро, но они умирали почти вслед за рождением. Я сделался мрачен и задумчив; жена моя стала раздражительна. Ни с того, ни с сего мы взаимно бывали недовольны. Единственное мое благо заключалось в нежности моей матери, которая слишком поздно увидела, какую жертву принес я ей, женившись против моей воли и лишь в угоду ей.

Посреди ежедневных неприятностей и домашних горестей, чувствительных, хотя и прикрываемых, скончалась моя дорогая мать. Увы! Вся радость моей жизни сокрылась в ея могиле; свет сделался для меня обширною пустынею; ничто в нем меня не привлекало. Тогда-то пробудилась во мне давнишняя страсть к путешествиям. Я был сам себе господин, попросил паспорта у правительства, получил его, и не прошло десяти месяцев с кончины моей матери, как уже был я за границей. Я пропутешествовал несколько лет; жена оставалась дома, и мы совершенно отвыкли друг от друга. Семь лет тому назад, на пути из Италии, я должен был торопиться возвращением в Россию. Возгорелась война между Французами и Австрийцами. После несчастного поражения армии Мака в Баварии и непосредственно вслед за позорною сдачею его при Ульме, Французския войска появились во всех владениях Австрийскаго императора. Я был захвачен отрядом Французских егерей на Венгерской границе близ Фишаменты. Они меня до чиста ограбили, отняли новую карету, пожитки, белье, платье, книги, инструменты, часы, небольшое собрание антиков и мозаик, около 1500 червонцев и слишком 1000 флоринов Австрийскими бумажками. Я должен был пешком пройти четыре мили до Пресбурга, где по счастью встретился со знакомым купцом, который мне дал возможность возвратиться домой. Это несчастное приключение значительно разстроило мои планы. С женою мы покончили тем, что разошлись частным образом, дав друг другу слово, в случае, если кто из нас захочет формального и юридического развода, то препятствий с обеих сторон не будет.

С этих пор я редко жывал в Белоруссии. У меня были друзья на Волыни, в Галиции, в Пруссии, в Риге, в Петербурге, и я жывал у них то там, то тут. Однако в промежутки мне случалось проводить зимние месяцы в нашем губернском городе Витебске. Почти все сменявшиися Белорусские губернаторы хорошо меня знали, и могу даже сказать, что они удостоивали меня уважения и дружбы. В особенности любил меня тайный советник Петр Иванович Северин. У меня бывали с ним важныя дела. Он поселился в Белоруссии и до сих пор весьма ко мне расположен.

Действ. статский советник Сергей Алексеевич Шишкин также знает меня близко и оказывал мне много дружбы, живучи в Витебске; он теперь губернским предводителем в Твери. Наконец, действ. статский советник Павел Иванович Сумароков, ныне губернатор Новгородский, любит меня искренно и удостоивает особливаго уважения; у меня с ним и литературные сношения. Все эти известные лица, быв долгое время начальниками в нашей губернии, имели случаи узнать меня коротко и могут свидетельствовать о моих действиях и о моих чувствах к моему отечеству и к моему Государю.

В эти последние годы золотая монета поднялась в цене; имение мое заложено по слишком высокой оценке. Времена наступили трудныя, доходов никаких. Поэтому я вознамерился продать мою землю, заплатить лежавший на ней долг и с тем, что останется, уехать внутрь России и, позабыв аристократическия тонкости, заняться торговлей или, пользуясь небольшими моими дарованиями, искать хорошаго места у какого-нибудь вельможи в столицах или по деревням. Я человек тихий и миролюбивый. Утратив состояние и разстроив здоровье, ищу только покоя. Все мои связи и сношения, все мои бумаги, и те из них, которыя опечатаны его превосходительством обер-полицмейстером Ивашкиным, в ночь с 26 на 27 Июня, служат явным и достаточным подтверждением слов моих. За несколько дней до моего задержания писал я в Тамбов к давнему приятелю моему Рубцу [Rubec]: «Я хочу проехать во внутренность России; я хочу у вас побывать в Тамбове, где, может быть, и поселюсь, потому что из всех государств Россия мне наиболее нравится». В черновом виде это письмо находится в моих бумагах, взятых г-ном обер-полицмейстером. Ответ на него пришел из Тамбова[5], когда я уже был задержан. Г-н обер-полицмейстер мне его доставил распечатанное, чрез участковаго майора Великанова. Я умолял его представить это письмо его сиятельству графу Ростопчину, дабы убедить его, что я верный подданный Его Величества и ревностный патриот. Г-н Великанов отвечал мне, что граф Ростопчин сам видел все мои бумаги и тамбовское письмо, что он вполне убежден в моей невинности и даст мне через два-три дни свободу, но что для порядка мне придется еще побыть два или три дня на съезжей; что граф, послав обо мне бумагу к Его Величеству в день моего задержания, теперь, по разборе моих бумаг, послал другую бумагу в мое оправдание.

Веря честному слову г-на Великанова, я успокоился.

Возвращаюсь к моему повествованию.

И так, я жил в последнее время в Петербурге, подыскивая себе выгоднаго места. В течение десяти месяцев мои поиски не удавались. Его превосходительство, генерал, сенатор и начальник всех таможен, Обрезков, предлагал мне должность переводчика; но как я не особенно силен в Немецком языке, и жалование тут скудное, то я отказался. Познакомился я в это время в Петербурге с Швейцаркою из Женевы, Розалиею Гельбиг, урожденною Кюн [6]. Общность вкусов скоро нас сблизила. Г-н

Обрезков знал ее хорошо по Гродне, и она доставила мне лестное для меня знакомство с ним. Мы уговорились с ней: она возмет место гувернантки, а я разведусь с женою, продам имение, заплачу долги и, соединившись браком, мы устроимся где-нибудь внутри России и займемся учительством. Согласно этому уговору, она уехала в Симбирск к детям генерала Киндякова на жалованье в 1800 рублей в год. Она теперь там. Я провожал ее до Москвы и поручил ей сыскать мне место где-нибудь по близости Симбирска. Написав в Белоруссию к друзьям моим о продаже земли, я собирался ехать либо в Тамбов к советнику Рубцу, либо в Симбирск, если там сыщется место. В Москве я прожил пять недель, не имея достаточно наличных денег, чтоб из нея выехать, как наступило 26 Июня.

Не знаю, в чем я обвинен. Положительно не знаю, кто мои обвинители.

В Середу, в 2 часа ночи, с 26 на 27 Июня вошел в мою небольшую комнату его превосходительство обер-полицмейстер Ивашкин и с ним несколько офицеров и солдат. Я лежал в постели совсем раздетый. Мне велено встать и показать мои бумаги. Я повиновался. Г-н Ивашкин запечатал их в пакет, приказал мне одеться, а сам ушел в гостиную. У меня в комнате остался какой-то господин, который надо мною немилосердно издевался и наконец спросил меня: «Где твоя невеста? Какой твой чин?» Я отвечал, что г-жа Гельвиг не виновна. «Как, так ты до сих пор недоросль?» Я не знал, чего ему от меня нужно. Потом мне сказали, что его зовут Чистяков и что он донес на меня. Признаюсь, это мне непонятно, т. к. я вовсе не знал г-на Чистякова и даже не помню, видел ли я его где-нибудь. Г-н Ивашкин был со мною весьма добр и любезен. Он сказал мне, чтоб я не боялся того, что хотят осмотреть мои бумаги, и что если я не знаю за собою вины, то ничего мне не будет. Слова эти совершенно меня успокоили. Ивашкин взял меня в свои дрожки и повез к себе. Меня привели в кабинет, где увидел я другаго Поляка. Спросили нас, знаем ли мы друг друга и, получив отрицательные ответы, оставили обоих под надзором полицейскаго офицера. Так прошло до девяти часов утра, когда пришел Ивашкин с околodочными майорами и сказал мне, что я должен отправиться к его сиятельству генерал-губернатору. Ко мне приставлен майор Великанов, и мы поехали к графу.

Часа два пробыли мы в приемной, и по знаку Ивашкина, я вошел в кабинет графа. Мне показалось, что он на меня очень гневен. С презрительным негодованием спросил он у меня, кто я такой. Совершенно смущенный, я отвечал: «Польский уроженец из Витебской губернии». Граф сказал мне: «Как! Ты не считаешь себя Русским подданным?» Слова эти меня поразили. Ах! Бог видит мою совесть и мое сердце: я Русский подданный телом и душою. Я хотел так отвечать, но язык меня не слушался. «О какой прокламации ты говорил? – продолжал граф. – Ты, игрочишка! Ты хочешь продать свою землю, чтобы переехать во Францию. Я тебя представлю в комитет». «Ах, ваше сиятельство (едва мог я произнести эти слова отчаянным голосом), я невинен, я никогда и нигде не

говорил... Я даже не слышал ни о какой прокламации. Клянусь перед вашим сиятельством, как перед Богом, я невинен.» «Неправда, – сказал граф, – против тебя есть свидетели. Взять его!» (обратился он к обер-полицмейстеру). Меня арестовали. Можно судить, что я почувствовал; но внезапно проблеснула в голове моей надежда. Это невозможно, это невозможно, твердил мне тайный голос. Граф справедлив и прозорлив. Он мне позволит свободно поговорить с ним и объясниться. Он лично переспросил моих обвинителей. Ему откроются ложь и злоба врагов моих. Меня жестоко оклеветали; но он справедлив, ему доступен голос угнетенной невинности, и он сам будет мне первым защитником. Утирая слезы, передал я все это майору Великанову. Тот подтвердил, что граф милосерд и справедлив и не осудит меня не выслушавши. Увы! Надежды мои не оправдались!

Через несколько дней передали мне через Великанова, что бумаги мои рассмотрены, что вины за мной не оказалось, и что завтра же меня выпустят на свободу. Прошел день, и Великанов говорит мне: «Надо потерпеть, граф захотел сам рассмотреть ваши бумаги». Через несколько времени опять тоже уверение. «Клянусь честью и головою, что вы признаны невинным; но по ходу дела надо еще подождать». Великанов позволил мне написать оправдательную записку для представления графу. Она была составлена почти также, как эта; но Великанов жестоко обманул меня, не передав записки. Я уверен, что если бы граф прочел ее, то я не только не был бы осужден, но снискал бы в нем покровителя для себя. Все же пользуются его милосердием, великодушием, справедливостью. И так я потерпел только от небрежности Великанова. Да простит ему Бог!

Однако надобно передать, как я себе объясняю причину моего злополучия. Через несколько дней по приезде в Москву встретил я в католической церкви молодого Поляка, по имени Тильковскаго. Заговорив со мною, он мне сказал, что в Полоцке, своем родном городе, знал он в Иезуитской школе моих младших братьев. На другой день он приходил ко мне и спрашивал между прочим, долго ли я располагаю пребыть в Москве. Я отвечал неопределительно, что, может быть, скоро уеду в Симбирск, и что мне хотелось бы пожить в Тамбове, но денег у меня мало, что в Тамбове у меня давнишний приятель, которому некогда я помогал, когда был богаче его и который теперь разбогател, и я надеюсь на взаимную услугу с его стороны. На это Тильковский сказал, что он готов ссудить мне денег, но у него самого их мало, но что он пришлет ко мне другаго Поляка, человека деловитаго, который достанет мне несколько сот рублей на поездку в Тамбов. Я поблагодарил его за такую услужливость. На другой день, я еще не вставал с постели, когда вошел ко мне от имени Тильковскаго с предложением услуг некто Черминский (или что-то в этом роде). Лицо у него такое непривлекательное, что сначала не хотел я иметь с ним сношения; но своею вкрадчивостью он обольстил меня, и я ему сказал, что мне надобно занять на два или три месяца от пяти до шести сотен рублей. Он пожелал взглянуть на мои бумаги; я ему показал их, и он мне

обещал через два дня достать денег. Я дал ему несколько серебряных монет на завтрак, чем он, повидимому, был весьма доволен. В назначенное время он пришел ко мне, и мы с ним отправились к некоему Плюшкову, который мне сказал, что может мне ссудить 800 или даже 1000 р., но что ему надо иметь что либо в залог или обезпечение. Я отвечал, что не могу, и на этом дело остановилось. Уже это мне не понравилось: зачем Черминскому нужно было уверять меня, что я получу деньги просто по векселю и без залога? На другой день он опять ко мне явился и сообщил, что деньги мне даст какая-то Польша Лорецкая или Лунская. И тут имел я глупость поверить. Он привел меня в такое мерзкое место, что я опрометью выбежал вон, не сказав ни слова. Но Черминский следовал за мною и на бульваре подсел ко мне. В это время проходил мимо нас обер-полицмейстер Ивашкин, и мне показалось, что он пристально глядел на меня. «Кто этот генерал?» – спросил я Черминского. «Как, вы не знаете? Это здешний обер-полицмейстер. Я его близко знаю, он меня любит и дает мне важныя поручения; бывая у него, могу я быть комунибудь и полезен и вреден...». Я принял эти слова за глупое хвастовство и убедившись, что Черминский человек ненадежный и неблаговидный, решил прекратить с ним сношения. Но через два дня он опять пришел с новыми предложениями: кто-то соглашался дать мне 1000 рублей наличными деньгами и на 1000 рублей вещей, с тем, чтобы я ему выдал на три месяца вексель в 3000 рублей. Я отвечал, что я никогда не занимал и даже не слышал, чтобы ктонибудь занимал деньги за такие страшные проценты, что мне не надобно столь большой суммы, что я не давал ему подобных поручений и теперь положительно отказываюсь от его услуг, т. к. один приятель помог мне, в ожидании ответа из Тамбова и писем из Симбирска и Белоруссии. Кажется, слова мои на него подействовали. Прикинувшись, что ему все равно, он медоточиво обратился ко мне с такой речью: «Послушайте, г-н Реут. Я уверен, что, изъездив много стран, вы мастерски играете и конечно научились играть наверняка... Займите эти деньги. Правда, процент велик; но вы не останетесь в накладе. Я вас познакомлю с некоторыми молодыми господами, и мы воспользуемся оба». Это привело меня в негодование, и я прервал его: «Вы ошибаетесь, г-н Черминский, либо смеетесь надо мною. Я не подал вам к тому никакого повода. За кого вы меня принимаете? Я вовсе не игрок, не жалаю иметь с вами дела и объявляю вам, что занимать денег мне не нужно». Тогда он мне сказал: «Ну хорошо! Оставим это; но как вы мне сказали, что вы при деньгах, то ссудите мне 25 рублей; я вам возвращу их через несколько дней». Я отвечал, что прошу извинить меня на этот раз, что денег у меня мало. Он разсердился и наконец ушел.

В тот же день вечером пошел я на бульвар. Черминский уже там и нахально подсел ко мне. На этот раз он был так пьян и так растрепан, что я делал вид, будто ни замечаю его. «Как, вы не хотите говорить со мною? – воскликнул он дерзко. – Так раскаетесь!». Это были последняя слова его, и с тех пор я не видел его больше. Спрашиваю теперь у людей чувствительных и честных, не должен ли я подозревать, что Черминский оклеветал меня перед обер-полицмейстером, тем более, что, как уверяли

меня, он очень близок с г-ном Чистяковым? Иначе, зачем графу Ростопчину пришло в голову считать меня игроком? Разве, может быть, в Москве смешали мое имя с именем известного игрока Реата, который бывал во многих местах и несколько раз замечен полицией. Когда в Петербурге, ища места в таможне, я представлялся г-ну Обрезкову, он спросил меня, не предаюсь ли я мерзкому занятию моего родственника, находившагося там под судом. Я сначала не понял его вопроса, но потом мы объяснились, и г-н Обрезков узнал от меня, что я не Реат, а Реут. Я же никогда не имел пагубной страсти к игре; склонности мои и средства не игрецкия. Некогда играл я в небольшие игры, но всегда был из тех, которые играют для развлечения и проигрывают, а не из играющих для барыша. А живучи в Москве, я не только ни разу не играл, но не был в обществах, где играли, и даже не видал карт. И так вероятно, что первым моим клеветником был Черминский, донесший, будто я игрок и продаю имение мое с тем, чтобы переехать во Францию.

Но откуда же самое важное обвинение относительно злосчастной прокламации? Кто из тайных врагов моих мог придумать такую тяжкую клевету? Но граф отозвался во множественном числе, будто против меня имеются свидетели, слышавшие, что я говорил о прокламации. Бог мне свидетель, и пусть Он накажет меня сию минуту, если я говорю неправду. О проклятой прокламации, которая тогда ходила по рукам в Москве, услышал я в первый раз в приемной у графа же, за минуту перед тем, как меня позвали к нему в кабинет. Я слишком много испытал, чтобы в смутные времена захотел толковать о политических делах. Вся моя жизнь доказывает, что я простой, частный человек, ищу только покоя, верен в подданстве Государю и усерден ко благу отечества, не только по долгу, но и по внутреннему убеждению и сердечной склонности. Тщательно перебирал я в своей памяти, о чем именно случилось мне говорить в эти последние дни, и твердо уверился, что ни единого звука не сходило с уст моих касательно дел политических. Наконец, после разных соображений и предположений, показалось мне, что я открыл источник этой клеветы[7].

В последнюю Среду, 26 Июня, за общим столом в гостиннице где я жил, сидел я рядом с Поляком, по имени Лебреном [Lebrun], и мы разговаривали о делах князя Радзивила, что в Несвиже. Я передал моему соседу некоторыя о том подробности. Этот князь Радзивил, молодой вельможа, владелец слишком 130000 душ в России, уезжая в прошлом году за границу, поручил управление своими имениями и своими делами в России господину Каминскому, председателю второго гражданского департамента в Минске. Князь должен казне и банку от 300 до 400 т. червонцев. Доверенность, выданная им Каминскому, явлена в Петербурге, засвидетельствована Сенатом и, кажется, даже утверждена особым указом Его Императорскаго Величества. Прошло несколько месяцев. Князь поступил в Варшаве в военную службу и потребовал из имения значительных денег. Каминский не мог или не посмел доставить их ему. Князь разгневался на него и без его ведома дал в Варшаве новую доверенность его делами в России двум графам Ржевусским. Сии последние

предъявили ее на контрактах нынешняго года в Киеве; но как бумага составлена в противность сенатским указам и при том не в России, то правительство не признало ее действительности, Ржевусские отданы под суд, Каминский снова утвержден, а имения князя подверглись запрещению. Обо всем этом я рассказывал громко и на Польском языке, на котором есть слова, одно на другое похожия звуками, но совсем разнаго значения; отсюда возможность превратнаго истолкования. За столом сидело человек двадцать посторонних людей. Кто нибудь, плохо зная по-польски, слыша мои слова: Wydal w Warszawie komplanasya dla Rzewuskich мог понять так: Wydal w Warszawie proklamasya dla Russkich.

Когда догадка о возможности такого переименования моих слов пришла мне в голову, я сообщал ее многим, и все отзывались, что надобно мне быть особливо несчастну, чтобы от того потерпеть...

Остается мне сказать еще о дне 14 Июля. Это было Воскресенье утром. Ко мне явился от г. майора Великанова полицейский офицер того округа, где меня арестовали, по имени Дунаевский, и важно сказал: «Г-н Реут! Государь Император повелевает вас отправить в город ваш Витебск». Затем он поздравил меня с тем, что мое приключение так благополучно кончается и любезно предложил мне елико возможно скорее собраться в путь. Мои пожитки оставались в великом беспорядке там, откуда меня взяли. Если бы мне дано было время, то я успел бы с помощью добрых людей запастись как должно на дальнюю дорогу; но г. Дунаевский так торопил меня, что я захватил с собою лишь несколько рубашек и еще кое-что. При том же я думал, что ехать до Витебска всего 550 верст, и я доберусь как нибудь. Дунаевский стал ласково обращаться со мною, говорил от имени Императора, и я не смел подумать, что он лгал и пользовался доверчивостью несчастливаго человека. Я поехал без перины и подушки, а в кармане у меня было всего 7 рублей медью. Дунайский запретил сопровождавшему меня офицеру (доброму человеку) сказывать мне о месте моего назначения, и уже пять верст за Москвою узнал я, что меня везут в Оренбург. Предоставляю чувствительным сердцам представить себе мое отчаяние! Мой офицер не мог удержаться от слез. 7 рублей скоро вышли, и он кормил меня на свой счет.

Великодушный и сострадательный князь Волконский! Вы видели, в каком состоянии прибыл я в Оренбург. Вы отерли слезы отчаяния. Узнав, что судьба моя зависит от вас, я начинаю оживать, и если вы милостиво изволите мне обещать, что моя записка будет доставлена графу Ростопчину, то сладостная надежда возродится в угнетенном моем сердце. Болеслав Реут, Белорусский гражданин из Витебской губернии.

2.08.1812, Оренбург.»

Лишь 5.02.1813 князь Волконский препроводил записку Реута, но не к графу Ростопчину, а к С. К. Вязмитинову, объяснив при этом, что «Реут, с начала присылки на житье в Оренбург, ведет жизнь тихую и скромную, никаких к нарушению

спокойствия предприятий, вредных разговоров и политических разсуждений не делает». Затем князь Волконский испрашивал разрешения главнокомандующаго в Петербурге, «простирается ли на него Реута сила высочайшаго манифеста об общем и частном прощении Поляков?»»

Князь Волконский разумел следующий манифест, изданный в Вильне 12.12.1812 и напечатанный потом в Петербурге при Сенате 30 декабря того же года.

«Божиею милостию Мы Александр Первый, Император и Самодержец Всероссийский и проч. и проч. Объявляем всенародно.

В настоящую ныне с Французами войну главная часть жителей в прежде бывших Польских, ныне же Российских, областях и округах пребывали нам верны, почему и разделяют со всеми нашими верноподданными нашу признательность и благоволение. Но другие различными образами навлекли на себя праведный наш гнев. Одни, по вступлении неприятеля в пределы нашей Империи, усташась насилия и принуждения или мечтая спасти имущества свои от разорения и грабительства, вступали в налагаемая от него звания и должности. Другие, которых число меньше, но преступления несравненно больше, пристали еще прежде нашествия на их земли к стране чуждаго для них пришельца и, подъявля вместе с ним оружие против нас, восхотели лучше быть постыдными его рабами, нежели нашими верноподданными. Сих последних долженствовал бы наказать меч правосудия; но, видя излившийся на них гнев Божий, поразивший их вместе с теми, которых владычеству они вероломно покорились, и уступая вопиющему в нас гласу милосердия и жалости, объявляем всемилостивейшее общее и частное прощение, предавая все прошедшее вечному забвению и глубокому молчанию, и запрещаая впред чинить какое-либо по делам сим притязание или изыскание, в полной уверенности, что сии отпавшие от нас почувствуют кротость сих с ними поступок и чрез два месяца от сего числа возвратятся в свои области. Когда же и после сего останется кто из них в службе наших неприятелей, не желая воспользоваться сего нашего милостию и продолжая и после прощения пребывать в том же преступлении, таковых, яко совершенных отступников, Россия не примет уже в свои недра, и все имущества их будут конфискованы. Пленные, взятые с оружием в руках, хотя не изъемяются из сего всеобщаго прощения, но без нарушения справедливости не можем мы последовать движениям нашего сердца, доколе плен их разрешится окончанием настоящей войны. Впрочем и они в свое время вступят в право сего нашего всем и каждому прощения. Тако да участвует всяк во всеобщей радости о совершенном истреблении и разрушении сил всенародных врагов, и да приносит с неугнетенным сердцем чистейшее Всевышнему благодарение! Между тем надеемся, что сие наше чадолюбивое и по единому подвигу милосердия соделанное прощение приведет в чистосердечное раскаяние виновных и всем вообще областей сих жителям докажет, что они, яко народ издревле единоплеменный и единоплеменный с Россиянами, нигде и никогда не могут быть толико счастливы и безопасны, как в совершенном во

едино тело слиянии с могущественною и великодушною
Россию.

Александр».

Вязмитинов ничего не отвечал князю Волконскому также, как и на вторичный запрос его от 30 апреля того же 1813 г. (№ 496), «с приложением письма Реута[8], в коем он, называя себя «помещиком Витебской губернии, Лепельскаго уезда, оправдывается в невинности». Только на третье ходатайство Оренбургскаго военнаго губернатора (6.01.1814, № 26) Сергей Козьмич уведомил князя, что Реут под вышепоказанный манифест от 12 декабря не подходит, «и без особого высочайшаго повеления в дом свой возвращен быть не может».

11.03.1814 князь Волконский писал министру полиции Балашеву: «Благодееяние г. Реуту вами, м. г., оказанное я принимаю с чувствительнейшею благодарностию». Затем 11 августа того же года, изложив подробно обстоятельства дела и подтверждая свои доводы в пользу Реута, перепиской его с семейством и его знакомством с бывшим Витебским губернатором Сумароковым, «который знает Реута с хорошей стороны и удостоверяет» вполне его личность, князь Волконский снова просил Вязмитинова освободить его. А между тем, пока шла эта долгая переписка, сам Реут, с согласия, конечно, князя Волконскаго, хлопотал о своем освобождении чрез посредство «действительной тайной советницы Анны Снарской [9], урожденной княгини Огинской, жившей в Белоруссии, в г. Невеле Витебской губернии». Но был ли освобожден Реут по этому ходатайству, архивныя дела не указывают. Надо думать, что он остался в России. Один из Реутов (по всей вероятности потомок ссыльнаго) в 40-х гг. служил в Оренбурге жандармским штаб-офицером. В настоящее время в Бузулукском уезде существуют дворяне-помещики Реутовские, может быть, ведущие свое начало от Реута.

III.

В исходе 1812 г. главные города внутри России переполнились пленниками, так что по необходимости, «дабы не обременять населения и прекратить им пути к бегству», приходилось отправлять их на окраины: в Казань, Самару, Саратов, Уфу и Оренбург. В сей последний было сослано их так много, особенно из простых солдат, что перечислить всех не представляется возможности. Здесь были и природные Французы, и истые Немцы, и Евреи, и наши Поляки, и люди других Европейских наций. Особенно выдавался между ними генерал Вальдбург-Трухсес со своим адъютантом Бацем и лакеем Иллини. 13-го Мая следущаго года военный министр князь Горчаков просил Оренбургскаго военнаго губернатора доставить ему сведения об этом генерале, которыя были «нужны Ея Величеству Государыне Императрице Марии Феодоровне». Сведения, конечно, были доставлены самая благоприятныя, и вскоре, по желанию вдовствующей императрицы, летом того же года, генерал был освобожден из плена вместе со своими приближенными и, чрез Петербург и Ригу, отправлен в свое отечество.

Генерал барон Дюмурье был сослан в Казань. Какой-то барон Кречмар отправлен в город Бугуруслан. Четверо военно-пленных Французов: капитан Клиор-Мартин Тестард и подпоручики Ян

Валюзио, Бартоломей Клиод и Клауд Пикардо были сначала поселены в Минске, но оттуда бежали и, пойманные уже близ границы, сосланы в Сентябре 1813 г. в Уфу. Такое же бегство учинили 3-го Французского конно-егерского полка капитаны Жерард и Краве и поручик Ласцен, «поэтому их прислали в Оренбург». Сюда же был прислан полковник виртембергской кавалерской службы граф Вальденбург и адъютант его капитан Патсо.

При захвате во время войны пленников часто происходили курьезы, которые потом оканчивались довольно плачевно, как для победителей, так и для побежденных.

Один помещик Тамбовской губернии, поручик Тамбовского пехотного полка Пушкин, возвращаясь с «Борисовского сражения», по дороге захватил какого-то Француза, почти уже замерзшего, и привез его к себе в деревню, куда ехал для поправления здоровья, вследствие полученной им в сражении раны. Семейство Пушкина приняло Демутье (так звали Француза) более чем любезно. Его обогрели, накормили, одели и отвели ему отдельную комнату в надежде иметь дароваго учителя Французского языка и «всем прочим наукам», т. к. у нас в то время сложилось убеждение, что каждый Француз, кто бы он ни был, непременно человек образованный.

Пленник жил в полном довольстве, какого вероятно не видел и в своей счастливой Франции. С поручиком Пушкиным они скоро сделались неразрывными друзьями: вместе ездили к соседям-помещикам и вместе устраивали шумные оргии и попойки. Часто под действием винных паров друзья вступали в примерное сражение или, выражаясь официальным языком, «совершали схватки, как бы на войне». Но, должно быть, они чрезмерно усердствовали показать свою удаль; домашним было не в моготу смотреть на примерные сражения двух храбрых воинов, и мать Пушкина, вдова полковника, принуждена была обратиться с жалобой к главнокомандующему в Петербурге на то, что ея «сын, поручик Пушкин, ведет себя непристойно, и с ним в буйстве и пьянстве участвует пленный Француз Демутье». С. К. Вязмитинов благоразумно распорядился удальцами. Тамбовскому губернатору было предписано «за надлежащим караулом препроводить Демутье на жительство в Оренбург, а поручику Пушкину немедленно явиться в свой полк».

Из числа польских военнопленных были сосланы в Оренбургский край Пинский маршал Родзеевский, за сношения его с неприятелем и за то, что он принял должность Пинского подпрефекта, и помещик Лемницкий с евреем Моисеем Якубовичем, взятыми за сообщение Модлинскому губернатору Красинскому известий о положении наших армий. Первый из них, по распоряжению князя Волконского, был оставлен в Оренбурге, второй отправлен в станицу Звериноголовскую, а третий в крепость Усть-Уйскую Челябинского уезда.

Но всего занимательнее судьба трех пленных Французских медиков. Из переписки о них до некоторой степени выясняется положение как нашей, так и Французской армии, особенно после отступления последней из пределов Русского государства и когда на западной границе сосредоточились все наши военные силы.

В это время в передовой действующей армии нашей чувствовался

недостаток врачей и медицинских служителей, так что в некоторые госпитали для ухода за больными приходилось посылать захваченных в плен Французских медицинских чиновников, содержащихся пока, впред до отсылки в глубь России, в наших пограничных городах. Таким образом, из Вильны во временно-учрежденные госпитали г. Белостока было прислано 10 человек пленных медиков: штаб-аптекарь Гио, штаб-лекари Мерсье и Спонвиль, лекари Саворнье, Люссо, Пеллетан и Тарассо, хирурги Ля-Пьер и Де-Клер и аптекарский помощник Гернельсбург. По переходе резервной армии из Белиц в Белосток, означенные выше госпитали поступили из гражданского ведомства в ведомство комиссариотское, и недостаток в медицинских чинах мало-по-малу стал пополняться прибывавшими за армией нашими полковыми лекарями, а пленных Французских врачей предположено было обратно отослать в Вильну для рассылки по другим городам.

Французы, пользуясь тем, что армия их, по занятии Силезии по самый город Бреславль, приблизилась почти к самой границе герцогства Варшавского, решились бежать из Белостока, и семеро из них: Гио, Мерсье, Спонвиль, Саворнье, Тарассо, Ла-Пьер и Де-Клер, в ночь со 2-го на 3-е Июня 1813 г., скрылись из госпиталя.

Правитель Белостокской области действительный статский советник Щербинин, боясь, чтобы и остальные трое не убежали, поспешил отправить их под присмотром в Вильну. Через несколько дней в лесу близ Белостока был отыскан хирург Де-Клер, видимо, не принимавший никакого участия в побеге и спрятавшийся только от страха. Наконец, немного позднее были доставлены еще трое: Гио, Мерсье и Спонвиль, пойманные уже в герцогстве Варшавском, почти близ самой Варшавы. Остальные так и не были розысканы.

Т. к. бегство, судя по направлению, было предпринято с очевидной целью соединиться с Французской армией, то, дабы пленным пресечь дальнейшие попытки к бегству, правитель Белостокской области обратился за разрешением этого вопроса к Литовскому военному губернатору, генералу-от-инфантерии Корсакову, который, находя пересылку виновных в Вильну неудобною, предписал Щербинину отправить их за крепким караулом в Оренбург, о чем 22 Августа того же 1813 г. и было сообщено Оренбургскому военному губернатору, с препровождением ему в подлиннике на Французском языке показаний пойманных Французов[10].

Первый из них, штаб-лекарь в главной квартире Французской армии, уроженец города Этьен, Мёзского департамента [11], Габриэль Гио [Giot, Gabriel, pharmacien-major au quartier general de l'armee francaise, ne a Etain, dept. de la Meuse, le 6 Janvier 1786] по приказанию своего военного министра был отправлен в главную квартиру [au grand quartier-general], стоявшую в то время в Смоленске; но «жестокость времени не позволила ему проехать далее», ибо он отморозил себе руки и ноги. По этой причине, 9.12.1812, ему пришлось остановиться в Вильне и лечь в госпиталь Св. Игнатия [St. Ygnace], в котором он пробыл до 1 Января, т. е. до того времени, когда Геральд, Русский дивизионный доктор [medecin en chef russe], определил его в аптеку этого госпиталя, где он находился для услуг до тех пор, пока госпиталь не очистился от больных. В первых числах Февраля

он был отправлен в Белосток, куда прибыл 1 Марта и явился к надворному советнику Михаелису, «к коему был послан, дабы он определил его на какую-либо медицинскую должность». Сей последний направил его к доктору Полянскому, который и назначил Гио помощником к Голькербуку [Holquerbouk], Французскому аптекарю, также прибывшему из Вильны. И здесь Гио, до пресылки на его место другого, «отправлял свои обязанности со всевозможною ревностью», как о том свидетельствует аттестат, выданный ему Полянским.

Другой Французский медик, захваченный в числе бежавших был штаб-лекарь Жан Христофор Сельвестр Спонвиль [Sponville, Jean Christophe Silvestre, chirurgien-major de la 4-me division d'ambulance legere, quartier imperial de l'armee francaise], который, оставаясь во время войны в госпитале Св. Игнатия больным, также потом был употреблен на службу при этом госпитале, а 19 Февраля отправлен в Белосток, откуда 4 Марта послан в Супрасльский монастырь лечить воинов Французских и союзников, находившихся в этом госпитале.

Третий бежавший З. Мерсье, был лекарь из корпуса принца Экмюльскаго [Z. Mercier, chirurgien-major du quartier du 1-er corps prince d'Eckmuhl], захваченный в плен 10.09.1812 в Вильне, где он раненый жил у одного Жида; но Жид этот, должно быть, ради гешефта, «не желая давать ему, что имел», донес на него, и Мерсье был взят и ограблен казаками. Снова раненый последними, он принужден был лечь в госпиталь, где нашел Гио и Спонвиля, «также несчастных, как и он», только у второго каким-то образом сохранилось немного денег. Здесь он пробыл до тех пор, пока был назначен в госпиталь Св. Иакова [St. Jacques], в котором помещались исключительно одни офицеры. Оттуда вместе с Гио и Спонвилем и он 19 Февраля был отправлен в Белосток.

14.06.1813 госпитали очистились от больных. Свободные располагать своим временем, Спонвиль и Мерсье захотели отпраздновать окончание своих трудов маленькой пирушкой и накануне этого дня пригласили к себе в Супрасль и Гио, прося его привезти с собой вина, ром и сахар. 13 числа (то было Воскресенье) в 4 часа утра Гио выехал из Белостока в наемной карете и к завтраку приехал в Супрасль. После стола, Мерсье уведомили, что его дожидается коляска, присланная каким-то бароном, у коего был болен сын. Но тот, по случаю приезда своего друга, долго не соглашался ехать к больному. Тогда Гио предложил сопутствовать ему и они вдвоем около часа дня поехали в поместье барона, где тотчас же по прибытии приглашены к столу, а после обеда Мерсье осмотрел больного.

Т. к. от имени барона до Супрасля было 4 мили и уже становилось поздно, то друзья решились переночевать здесь, надеясь приятно провести время в обществе бывшего там молодого артиллерийскаго офицера, который своим веселым характером много забавлял их. Этот Русский офицер проездом находился здесь с матерью и так свободно держал себя, как будто прожил в этом доме несколько дней. На другой день пребывания французов у «благороднаго Поляка» один из его сыновей, имевший нужду быть в Белостоке, сел с ними в коляску и проводил их до Супрасля.

Вечером того же дня (т. е. 14 Июня) в Супрасль прибыл командированный начальником Белостокской области советник

Взюбель для взятия списка больных, долженствующих выбыть из больниц. Он объявил им о скором очищении от больных всех наших госпиталей. В то же время один из Российских комиссаров предупредил пленных, что некоторые из них будут отправлены отсюда, а в Супрасле останется только один из них, коим, как они могли заключить из его слов, будет штаб-лекарь Спонвиль.

Это показалось Французам подозрительным и, на другой день утром 15 числа, Мерсье и Гио хотели отправиться в Белосток, чтобы узнать у властей о судьбе, которая их ожидала и просить милости у начальника области оставить их всех в Супрасле. Около 11 часов вечера в комнату к медикам пришел один из больных и сказал им, что сюда приехали казаки взять их. Встревоженные этим известием, Французы поняли, что их хотят отправить в глубь России.

Вспомнив, какая претерпевались там несчастья, они захватили с собой хлеба и снедей и, побросав все ненужные им пожитки, без дальнейших разсуждений, в тот же вечер, спустились через окно аптеки в сад и бежали в соседний лес, где построили себе шалаш и пробыли в нем 10 или 12 дней до тех пор, пока у них имелись съестные припасы.

Безполезно блуждая по лесу, не зная местности и дорог, куда идти и как скрыться от преследования, они были доведены до такого состояния, что не раз хотели возвратиться в Белосток и добровольно отдать себя в руки властей, в надежде получить прощение своему поступку. Но боязнь быть захваченными на пути и препровожденными, как дезертиры, заставила их отказаться от этого намерения. Они предпочли за лучшее идти в Варшаву, где у Спонвиля жил родственник, чтобы с помощью последнего выхлопотать себе у Русского министра разрешение остаться в этом городе или быть свободно отпущенными в арриергард, с прощением их поступка.

2 или 3 Июля утром они вышли из Супрасльского леса и направились к Белостоку, но, не зная дороги, сбились с пути, проплутали два дня и снова вернулись к Супраслю. Только на следующий день (6 Июля) они кое-как добрались до реки Наревы и хотели переплыть ее вплавь. Но ширина этой реки и болотистые берега ее не позволили им провести это намерение в исполнение. К тому же Мерсье с своей раненой ногой не мог совсем плавать. Дня два или три ходили они по берегу Наревы в ожидании случая встретить кого-нибудь, кто бы мог перевезти их на другой берег. Наконец, они увидели одного патера, котораго за два червонца насилу уговорили как-нибудь переправить их. Тот отыскал им две лодки, и они благополучно переехали на другой берег. Патер провел их в дом какого-то крестьянина, где они могли купить хлеба и молоко, потом проводил в лес и поручил другому крестьянину проводить их до границы. Отсюда они уже одни шли по ночам; только раз две мили они проехали в крытой телеге ехавшаго на пути Жида. Не доходя полмили до Буга, они встретили двух рыбаков, которые за два червонца согласились перевезти их на противоположную сторону. Там также они шли по ночам, а днем скрывались в лесах или хлебных полях, спрашивая у встречных ксендзов и Жидов пути на Варшаву. Гио имел ландкарту, которая до некоторой степени служила им путеводством.

Таким образом они продолжали свой путь до утра 16-го Июля,

когда, выйдя из леса, они увидели на хлебном поле крестьянина и спросили его, есть ли войска в деревне и как идет дорога на Варшаву? Крестьянин сказал, что войск в деревне нет, и они, ничего не подозревая, смело пошли вперед, но только что вошли в улицу, как натолкнулись на Русского унтер-офицера, которого приняв за казацкого офицера, пустились бежать назад, чтобы скрыться в хлебе. Их однако заметили и за ними была послана погоня. Французы думали искать спасения в бегстве, но Мерсье с своей раненой ногой не мог сопутствовать им. Тогда, не желая оставлять друга в опасности одного, пленные вернулись в деревню и передались в руки унтер-офицеру. Тотчас 30-ть казаков окружили их, связали и повезли в Каменск, где комендант отобрал у них все бумаги, а на другой день препроводил в Пултуск, в котором они находились 10 дней до 24 Июля, а затем, по снятии с них допросов, были препровождены в Белосток, где также 31 Июля в канцелярии правителя Белостокской области от них были отобраны показания, те самые, что потом были пересланы Оренбургскому военному губернатору; но сами пленные в Оренбург не явились. Их долго переводили из одного города в другой по западной Руси, пока по высочайшему манифесту 14.12.1814 не возвратили на родину.

В этом году Русския войска уже вступили в пределы Франции, а 19 Марта совершился торжественный въезд императора Александра I в Париж. Французская армия сложила оружие, и весь Французский народ изъявил полную покорность победителям, а генеральный совет Сенскаго департамента и Парижский муниципальный совет по этому поводу, 14.04.1814, издали к народу воззвание. Прокламация эта была разслана не только по всем департаментам Франции, но и в России по тем губерниям, в которых были пленные Французы.

После обнародования вслед за тем манифеста 14-го декабря все пленные Французы были освобождены. Большинство из них через Ригу было отправлено в их отечество; но некоторым из пленных так понравилось житье в России, что они пожелали остаться в ней навсегда и приняли Русское подданство. Одни из них поселились в нынешней Самарской губернии и зачислились в податное сословие; другие же, находившиеся в Верхнеуральском уезде, перечислились в казаки, и потомки их до сих пор остаются казаками Оренбургскаго войска[12].

В настоящее время в этом войске насчитывается 48 человек потомков прежних воинов «Великой армии» Наполеона, и сохранились в полной неприкосновенности, не переименованными, только две фамилии Французских – Жандр и Ауц. Первая из них состоит всего лишь из нескольких человек: вдовы покойнаго сотника Оренбургскаго войска Евдокии Ивановны, сына ея Якова Ивановича и трех выданных замуж дочерей (Александры, Марии и Юлии), живущих в станице Кизильской Верхнеуральскаго уезда и имеющих потомственный земельный участок в 400 десятин, пожалованный за службу покойнаго сотника Ивана Ивановича Жандра, родившагося в 1824 г. от Француза Жака Жандр, который остался в России от 1812 г.

Фамилия же Ауц, наоборот, довольно распространена. Потомков ея, не считая выданных замуж дочерей, насчитывается 18 мужчин и 24 женщины. Родоначальник их Илья был простой солдат «Великой армии», сосланный сначала в дер. Верхнюю Кармалку Бугульминскаго уезда, бывшей Оренбургской губернии,

вместе с прочими пленными: Филиппом Юнкером, Вилиром Сониным, Леонтием Ларжинц и Петром Бац, потомки коих и до сих пор обретаются в этой деревне. Впоследствии же Ауц (Илья Кондратьевич), женившись в Кармалке на крестьянской девушке Татьяне Харитоновой, в 1842 г. со всем семейством переселился в Верхнеуральский уезд и избрал местом своего жительства казачий поселок Арсинский (Арси, как его называют сокращенно); в следующем году был он зачислен в казаки, а в 1853 г., с именем Василия, принял православие.

Об остальных потомках пленных Французов, ранее зачисленных в Оренбургское казачье войско, трудно в настоящее время собрать какая-либо положительные сведения, т. к. они, при образовании в сороковых годах т. н. Новой линии, были переселены из прежних мест жительства на новые места. Дети их, должно быть, не желая казаться чужими среди своих одностаничников, переменили свои прежние Французския фамилии на Русския и таким образом затерялись в общей массе казачьяго населения также, как утратили свои прозвища потомки Французов, оставшихся в Бугульминском уезде, где, например, от Филиппа Юнкера произошла фамилия Юнкеров, дети Ларжинц совсем переменили прозвище отца и пишутся теперь «Жильцовы», а от Петра Баца произошли Бацитовы, и только потомки Вилира Сонины сохранили неприкосновенным свое имя.

ПРИМЕЧАНИЯ:

[1] Из Оренбургскаго центрального архива за 1811-1815 гг., т. I и II (отдел секретный).

[2] Крут – овечий сыр, приготовленный в виде круглых булочек.

[3] Годфруа, должно быть, говорит здесь о так-называемых симах, возобновленных в 1816 г. для изобличения Киргизскаго прорыва во внутрь страны. Это по всему протяжению пограничной линии втыкаемые в землю тонкие прутья тальнику, которые, связываясь своими вершинами один с другим, составляли нечто похожее на изгородь. В случае обнаружения порчи симов ближайший пикет давал знать об угрожавшей опасности соседним постам («Памятн. Книжка Оренб. губ.» 1895, II, 39).

[4] Этот брат ныне служит ассессором во втором гражданском отделении Витебскаго Губернскаго Правления.

[5] Действительно, в подлинном деле о Реуте находится Русское письмо к нему от Ивана Рубца, от 26.06.1812, из Тамбова, где он, называя Реута «любезный друг Богуслав Матвеевич», убедительнейше просит его приехать в Тамбов и занять квартиру у него в доме на сколько угодно, и от души радуется, что Реут по приезде к нему расскажет о своих путешествиях за границей и опишет все достопримечательности. П. Ю.

[6] Девица Розалия Кюн, живучи в Гродне у княгини Четвертинской (мачихи Марьи Антоновны Нарышкиной), вышла за

Немца Гельвига; через два года она развелась с ним в Петербурге.

[7] В известном романе Вольтера Задига есть черты, схожая с моими настоящими обстоятельствами. Задиг, прогуливаясь с одною дамою в садах Вавилона, написал четыре стиха в похвалу своего монарха, разорвал на двое этот маленький лоскут бумаги и кинул его на ветер. За это столь простое действие он чуть не поплатился жизнью.

[8] Этого письма ни в подлиннике, ни в копии не находится в делах Оренбургского Центрального архива.

[9] Не была ли Снарская по мужу своему в родстве с фельдмаршалом князем П. Х. Витгенштейном, который был женат на Снарской? П. Б.

[10] Все показания эти отмечены 31.07.1813.

[11] В доставленном при этих показаниях Русском переводе он почему-то показан Сенскаго департамента.

[12] Мы уже однажды (в «Оренб. Губ. Вед.» за 1892 г., № 32) сообщали о Французах, перешедших в казаки. То были Антоний Берг, Шарль-Жозеф Бушен, Жак-Пьер Бинелон, Антон Виклер и Эдуард Ланглуа.